

Б.М. ФИРСОВ

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ БЕСКОРЫСТНЫМИ ДУХОВНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ

С первого дня нашего многолетнего знакомства с Юрием Александровичем Левадой, состоявшегося в годы возрождения советской социологии, и до трагической минуты 16 ноября 2006 г., когда остановилось его сердце, он олицетворял для меня человека, чьим девизом была борьба за свободу мысли. Этот девиз он с честью пронес через всю свою нелегкую жизнь, начав в юношеские годы с поисков места, где должны «говорить настоящую правду». Так он стал в конце 1940-х гг. студентом Московского университета, но к учебе на философском факультете его побудила не любовь к философии. Позднее он скажет: «Просто было тогда — странное мальчишеское — представление, что есть места, где должны говорить “настоящую правду”. Было ощущение того, что газеты, школы, пропаганда врут, но делают это потому, что так “надо”, а вот где-то и кто-то должен знать подлинную правду» [1, с. 82].

Левада, который всегда судил себя по самым строгим, едва ли не аскетическим меркам, в те годы не мог предположить, что в конце XX века мучительные поиски обетованного места, откуда возвещают правду об обществе, закончатся для него вполне успешно. Созданный при его деятельном участии и руководимый им (1992–2003 гг.) ВЦИОМ, а с марта 2004 г. — аналитический «Левада-центр» станут точками роста независимой, серьезной, честной российской социологии, сам же Юрий Александрович Левада — глашатаем бескомпромиссных научных и гражданских взглядов.

1

После университетской аспирантуры и работы в Институте философии Ю. Левада оказался в только что созданном ИКСИ АН СССР, где начал развивать традиции самостоятельного анализа социологии и смежных дисциплин. Уже тогда он не верил в политический прогресс на советской ниве и рассчитывал только на то, чтобы развить интерес к серьезному социальному знанию, считая, что оно пригодится лет через 30–50 будущим поколениям. Он прошел через споры со своими коллегами о том, стоит ли заниматься книжными премудростями зарубежного происхождения хотя бы для того, чтобы не повторять

Фирсов Борис Максимович — доктор философских наук, главный научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге. Адрес: 191187 Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 3. Телефон: (812) 579-42-30. Электронная почта: firsov@eu.spb.ru

чужих пошлостей. Главной формой жизни сектора, где он работал, был семинар. Собирались регулярно — еженедельно, иногда и чаще, для обсуждения социальных, теоретико-экономических, семиотических, культурологических, исторических проблем. Особенность семинара заключалась в том, что на его заседаниях бывали практически все уже в те годы по праву считавшиеся яркими люди — Пятигорский, Аверинцев, Гуревич, Баткин, Иванов, Шляпентох, Щедровицкий. Семинарская жизнь, расцветавшая в полутьме, в условиях то ли полудозволенности, то ли полузапретности, заглохла в наши дни. Но тогда было время расшатывания идеологической монополии, расширения кругозора, осторожных намеков или отдельных дерзких выходов. Сам Левада назовет эту пору семинарской, то есть временем накопления знаний, избегая говорить о нем как о периоде применения знаний в реальных социальных, политических, научных, гуманитарных практиках. Но все же что-то удавалось сделать, или хотя бы обозначить «тогда»; в частности был нащупан переход к тому, что происходит с нами «теперь».

Я и сейчас продолжаю удивляться потоку социологических озарений, который сопровождает деятельность «Левада-Центра» — ведущего центра по изучению общественного мнения в нашей стране. Этому серьезно помогает мыслительный и методологический материал, который был создан «тогда», в семинарскую пору, затянувшуюся не на один год под влиянием разборок, вызванных «делом» о левадовских лекциях по социологии. Мой атеизм не мешает мне увидеть в этой вынужденной пролонгации проявление неумолимой власти провидения.

Злополучные лекции стали поводом для гонений на их автора. Однако Левада не чувствовал за собой вины. В своем гарвардском интервью он прямо говорит: «Ни угрызений, ни переживаний у меня по этому поводу не было» [2, с. 157]. Ведь он доподлинно знал, что излагает студентам мысли, выношенные *естественными* для ученого свободными раздумьями. Правда, «своевременность» (или «несвоевременность») всех мыслей в стране определялась властью, боявшейся резких перемен и потому ревностно охранявшей статус-кво. Отсюда и все беды на головы тех, кто осмеливался забегать вперед и видеть больше, чем близорукие, но всемогущие правители. Сейчас смешно, но и горько читать партийные энциклики и камлания участников всяких разоблачительных кампаний послевоенных лет. Да, это была «чушь», но каково было выносить ее тем, кому она была адресована, против кого она была направлена?

Главным в этой истории было мужественное противостояние Левады бесчисленным на него нападкам. Он относился к числу людей, твердо усвоивших на примерах идеологической войны, которую в 1950-е годы вела партия против космополитов и антипатриотов,

«засевших» в различных сферах литературы, искусства, культуры, науки, что раскаяние мало кому помогает, не говоря уже о том, что «кающийся грешник» только ухудшает и дело, и собственное положение. Эта позиция четко заявлена в его гарвардском интервью, где он говорит об определенной драме всей страны и интеллигенции. Год или два спустя после посещения Гарварда он поднял ту же проблему в доверительном дружеском кругу, беседуя со мной и В. Шубкиным в будапештском отеле, где нас поселили на время работы международного семинара, посвященного реформам в России. В этом разговоре Левада подробно делился с нами впечатлениями о книге В. Каверина «Эпилог» [3], которую он досконально прочел и принял на вооружение. Работая над статьей, я нашел в каверинских воспоминаниях то место, на которое ссылался Левада.

Неизменными спутниками «покаяний» в советское время были утрата душевного равновесия, напрасные поиски выхода там, где его невозможно было найти, отказ от самого себя в тщетной надежде найти жанр, форму, способ выражения концептуальной мысли (для ученого), которая позволила бы гонимому творцу уйти от преследователей и остаться в литературе (науке). Однако были примеры исключения из этого правила. «Замятин написал Сталину, что он отказывается от работы “за решеткой”. Булгаков, отнюдь не раскаиваясь, настойчиво доказывал свою правоту. Его не печатали с 1926 года, но он сохранил себя в работе над “Мастером и Маргаритой”. Укрывшаяся в глубоком подполье поэзия Ахматовой была основой самоутверждения — и победила. Бабель замолчал, не желая лгать» [3, с. 69–70]. Осада географически разобщила названных Кавериним литераторов, но эта пространственная разобщенность компенсировалась духовными связями, нити которой незримо соединяли «жизнедеятельные явления нашей литературы».

В каком-то смысле «наедине с собой» остался и Ю.А. Левада. Его запретили печатать, обесчестили, сломав над его головой «шпагу», — лишили звания профессора высшей школы, закрыли перед ним двери университетских аудиторий, книжки «Лекций по социологии» изъяли из обращения как источники крамольных настроений. Jedem — das Seine (каждому — свое) — гласит немецкая поговорка. Я намеренно привожу аналогии, хорошо известные из многострадальной истории советской литературы. Возможно, они помогут читателю понять трудности восхождения на Голгофу научного знания в советское время.

Оборотной стороной абсолютно незаконной многолетней осады Ю. Левады оказалась свобода, с которой он мог выбрать способ социологической деятельности. Левада едва ли не первый представитель социологического сообщества, который осознал эту свободу не только как базовую ценность, но и как решающую предпосылку для

получения подлинно научного знания, очищенного от идеологических суррогатов и примесей.

2

Ориентация на семинар не была случайной. Всякий, кто решит, что это было бегством от преследований, ошибется. В публичной лекции «Что может и чего не может социология» Левада объяснил, в силу каких причин он нашел свою нишу в семинаре: «Надо сказать, что когда меня соблазнило слово “социология”, то я думал о “большой социологии”, которая может помочь что-то объяснить и что-то истолковать в том, что мы видим вокруг себя. Даже когда мы первый раз с кругом давних коллег и давно уже близких друзей получили возможность в этом духе работать в очень далекие 1960-е годы, оказалось, что не так много можно сделать. Не потому что кто-то мешал — это самое неинтересное из того, что бывает. Дело в том, что там, по-моему, кончался порох... Но была закваска, состоящая в том, чтобы попытаться думать, используя все варианты опыта, любые доктрины и направления, не ограничиваясь ничем» [4].

Решение изучать общество таким необщепринятым, *вольным* способом было принято в пору, когда сохранялись партийные запреты на то, чтобы заниматься (речь о научных занятиях) чем угодно и думать как угодно. Наверное, по этой причине вольномыслие помогло Леваде в конце 1980-х гг. превратить традиционно прикладное занятие, каким является изучение общественного мнения, в мощный познавательный инструмент «большой социологии» для изучения советской и постсоветской «вселенных»; увидеть эпоху разочарований в иллюзиях, ситуацию, которую многие считали беспросветной, за бесчисленным количеством поворотов и переломов советской истории, одновременно и болезненных, и интересных; говорить об осторожных надеждах на перемены к лучшему в судьбе народа, страны в целом и о макросоциальных условиях — гарантиях этих надежд. В этом смысле девиз Левады со товарищи «От мнения к пониманию» я наделил бы статусом парадигмы современной социологии, опирающейся на уникальный материал эпохи — мнения многих тысяч людей. «Моя же задача, — скажет в своей лекции Левада, как бы комментируя свои ответы Д. Шалину, — если я работаю как ученый-исследователь, в том, чтобы не печалиться и не радоваться, понимать. Это слова Спинозы. По-моему, это эмблема научного знания в общественных науках. И в нашем призыве понимать, из мнений строить наше понимание, тоже содержится эта мысль. Я требую от себя и от людей, которые работают, не печали, а трезвости» [4].

3

Всю жизнь Левада помнил опыт нашего славного прошлого, когда опросов боялись, видя даже в относительном меньшинстве опас-

ность, угрозы режиму. Боялись, между прочим, того, что вдруг опросы выявят 3–5% людей, не согласных с чем-то существенным для власти; того, что несогласных может быть 10%, — никто и подумать не смел. Наверное, по этой причине опросы в советское время не прижились. А если бывали, то, как правило, секретными, в исключительных случаях — для служебного пользования, то есть опять-таки для небольшого круга доверенных лиц, для «наших», как любят говорить представители нынешней российской администрации. «Никто не должен был знать, что кто-то не согласен» — таково резюме Ю. Левады [4].

Подтвержу это курьезным примером из «застойных времен». В середине 1970-х гг. Ленинградский обком при моем и Б. Докторове участия создал специализированную систему изучения общественного мнения. Речь шла об организации опросов среди работающего населения Ленинграда. Система была построена по научным правилам и предназначалась для зондажа мнений по актуальным для партийных органов проблемам. Не без колебаний «заказчики» приняли нашу идею — выявить на основе представительной выборки отношение рабочих и служащих к очередному съезду партии. Сравнительно легко согласовав техническую и организационную сторону дела, мы натолкнулись на одно неожиданное препятствие. Заказчик возражал против формулировки ответов на «настроечный» вопрос анкеты «В какой мере вы знакомы с материалами XXIV съезда КПСС, опубликованными в печати?» Мы предложили традиционную для таких случаев равномерную шкалу ответов («ознакомился полностью», «ознакомился частично», «не ознакомился»), не подозревая, что действительное распределение этих ответов является предметом серьезного служебного беспокойства «заказчика». А вдруг доля людей, выбравших второй и — страшно подумать! — третий ответ, будет настолько большой, что станет свидетельством равнодушного отношения трудящихся города, носящего имя великого Ленина, к главнейшему событию в жизни партии и страны! Может быть, этот «настроечный» вопрос лучше убрать? Смутила «естественность» (для социологов) третьего ответа. Возможно ли, чтобы советский труженик не удосужился прочесть материалы съезда без уважительных причин? В окончательной редакции злополучный ответ выглядел так: «не успел ознакомиться с материалами партийного съезда». По легенде сметливого «заказчика», это должно было означать, что респондент хотел было прочесть партийные документы, но какие-то внезапно возникшие обстоятельства помешали ему это сделать. Такова тогда была граница «правды», которую мысленно устанавливал «заказчик». Еще один логически возможный ответ («материалы съезда партии меня не интересуют») был связан с реальностью, вернее с той ее частью, куда «вход был строго запрещен». Лиц, которые так думали, устанавливали

уполномоченные на то органы, с которыми у партии были свои отношения. Для их обнаружения не требовались опросы общественного мнения. Утверждаю, что этот ответ показался бы партийцам-аппаратчикам едва ли не «расстрельным».

Конечно же, Левада изначально придерживался другой точки зрения. В любом нормальном обществе, в любой ситуации есть и должны быть те, которые «за», и те, которые «против». Есть спор, есть поиски чего-то более правильного, более приемлемого. Это отличает не только политические позиции, но и неполитическое моральное разномыслие. Кроме этого, существует воображаемая позиция разума — научная точка зрения, взгляд ученого, который должен быть независимым в своих размышлениях, видеть разные стороны того, что предлагают говорящие «за» и «против». «Беда, однако, состоит в том, что когда мы рассуждаем в плоскости политики, то те, которые “за”, и те, которые “против”, качаются на одних качелях, сидят на одной доске. Позиция науки в несколько идеализированном виде состоит в том, чтобы видеть дальше, глубже и свободнее, чем видят те, которые “за” и которые “против”. Я стараюсь *всю жизнь* (курсив мой. — *Б.Ф.*) в основном держаться на этой позиции, хотя нельзя при этом не быть человеком, гражданином» [4].

4

Если иметь в виду советскую и российскую историю, можно сказать, что властные отношения являлись фактором развития науки, как и персонажи, увенчивавшие пирамиду власти. Иносказательно последнюю мысль хорошо выразил П. Вайль: «Самосознание русской культуры (следовательно, и науки. — *Б.Ф.*) циклически меняется. “Процесс пошел”. Это фольклор, выражение Горбачева останется, как остается от Ленина “есть такая партия”, от Сталина “жить стало лучше, жить стало веселее”, от Хрущева “кузькина мать”, от Брежнева “чувство глубокого внутреннего удовлетворения” <...> “загогулина” от Ельцина, “мочить в сортире” от Путина» [5, с. 154].

«Не чуют под собой страны» (О. Мандельштам), не значит не чуют вождей, поскольку черты их личности продолжают влиять на степень академических свобод.

На практике власть и вожди всегда стремились встать над наукой. Прожив в науке более 40 лет, скажу, что в нашей стране много не знали. Либеральный вариант («позвольте делать кто что хочет», «позвольте идти кто куда хочет»), то есть невмешательство, оставался недостижимой мечтой. Потому не стану далее перечислять словарные коннотации принципа *laissez faire* — от «пусть позабавятся», как говаривал князь Долгоруков, имея в виду начинавшееся в середине XIX века земство, до высказываний одного из университетских профессоров в годы студенческой молодости каракозовца И.А. Худякова.

Этот профессор внушал своим питомцам, что свобода учения и преподавания невозможна и потому их следует «водить на помочах» [6].

Российские общественные науки, подчеркну это, едва ли не весь период советской истории, провисели на «помочах КПСС». Среди ученых были даже такие, кто не мог ощутить себя человеком без «партийных подтяжек» (слово вполне цивильное). Занимаясь историей послевоенной отечественной социологии, я отдал дань этой традиции и предложил систему из *шести* моделей отношения научных «низов» и «партийных верхов» [7, с. 115–131].

Их характерная черта состояла в том, писал Ю. Левада, что средний советский ученый в целях элементарного самосохранения добровольно или вынужденно, но вступал в обязательную сделку с «дьяволом», всемогущим властным партнером, партийными государственными структурами самого разного уровня. С другой стороны, этот властный партнер не мог существовать без постоянно совершаемых сделок с множеством «простых» людей, без признания за ними права на самосохранение [8, с. 31]. Должен признаться в том, что я проглядел *седьмую* модель, которую уже тогда в реальности представляли научные сообщества во главе с Ю.А. Левадой (в конце 1960-х гг. — руководимый им сектор ИКСИ АН СССР, в 1970-е гг. — научный семинар, о котором шла речь выше). Левадовские сообщества обобщились без «сделок с дьяволом», сознательно отдав себя во власть свободно мыслящей научной среды. Чтобы доказать это, я еще раз сошлюсь на мемуары В. Каверина, пользуясь тем, что Ю. Левада высоко ценил экзистенциальный опыт советских литераторов в борьбе за раскрепощение художественного творчества, описанный в этой книге. Только на этот раз я «примеряю» на социолога Леваду состояние раскованности, которое пережил сам В. Каверин в один из периодов хрущевской «оттепели», будучи членом редколлегии литературного альманаха «Москва» [3, с. 331–352].

Опуская детали, назову лишь принципиальные предпосылки успеха писательской инициативы. Это был творческий труд, сопровождаемый обменом мнениями на базе впечатлений, полученных от совместного прочтения прозы, стихов, статей, публицистики, дневников и заметок. В регулярных и частых встречах членов редколлегии нащупывалось единство вкусов. Над всем главенствовала драгоценная возможность самостоятельного выбора тех или иных произведений, которая связывала людей круговой порукой в классическом, а не уголовном смысле. И, наконец, главное, ради чего я отважился на эту «примерку». Работа редакционной коллегии альманаха «Москва» напоминала автору собрания кружка литераторов в 1920-х, известного под названием «Серрапионовы братья». (Напомню, что девизами этого кружка были поиск новых приемов реалистического письма, неприятие

примитивизма и плакатности в литературе, отрицание всякой тенденциозности, особенно социально-политической.) Это была «*пора, когда казалось, что за каждым нашим шагом строго следит сама литература. Потому принимая решение — печатать или отвергнуть, — мы знали, что под ее пристальным взглядом нельзя ни лгать, ни притворяться*» [3, с. 336].

Нравственный императив независимой науки всегда значил для Левады и его единомышленников гораздо больше, чем политические каноны режима, принудительно навязываемые властью. Это нашло свое отражение в его гарвардском интервью Дмитрию Шалину. В эпохи разных правителей он оставался неизменным со своими раз и навсегда принятыми правилами естественного поведения и кодексом чести. Потому так скупы его ответы о научном житье-бытье в советское время: он всегда делил людей на две части — интересную и малозначащую для него («кривых», «нехороших», с кем никогда не следует иметь дела, «устраивать споры», а тем более просить о чем-либо); всегда считал главным «продолжить линию свободного научного мышления» в социальной области, но так, чтобы избежать «нарочитого лазанья на рожон»; неизменно и при любых обстоятельствах оставался самим собой, сохраняя независимость духа и свободу научного поведения; никогда не причинял вреда другим, но и себя не ронял в собственных глазах. В итоге: «Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю» [2, с. 159].

При этом Ю. Левада был скуп на слова, разговорить его, тем более с целью подробно объяснить его научное и нравственное кредо, было трудно. Не любил Юрий Александрович много говорить о себе. Нам еще предстоит перевести на язык своих повседневных представлений и действий то, что он называл «вести себя естественным образом».

5

В конце тридцатых годов великий русский ученый академик Вернадский писал, что он подразумевает под свободой мысли не просто свободу от цензуры, а *присутствие мысли во всех делах — победу умной силы*. Однако эта сила отсутствовала тогда в управлении развитием страны, и чудовищный разрыв между умом правителей и умом, который накапливался в обществе, сохранился до наших дней. Спустя несколько десятилетий тот же разрыв остро почувствовал Юрий Левада и потому без остатка посвятил себя воплощению в жизнь идеалов серьезной, независимой и честной социологии.

Да будут вечными наша память о Юрии Александровиче Леваде и наша благодарность ему за преданность науке, к которой мы имеем честь принадлежать.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Левада Ю.А.* «Научная жизнь — была семинарская жизнь» // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999. С. 82–94.
2. *Левада Ю.* «Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» // Социологический журнал. 2008. № 1.
3. *Каверин В.* Эпилог: мемуары. М.: Московский рабочий, 1989.
4. Что может и чего не может социология: Лекция Юрия Левады // Полит.ру. Публичные лекции [online]. Date of access: 12.05.2008. URL: <<http://www.polit.ru/lectures/2005/01/04/levada.html>>.
5. *Вайль П.* Карта родины. М.: КоЛибри, 2007.
6. *Худяков И.А.* Записки каракозовца. М.: Молодая гвардия, 1930.
7. *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950–1980-х годов: Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2001.
8. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х / Отв. ред. Левада Ю.А. М.: Мировой океан, 1993.